

© 1992 г., ЭО, № 1

В. А. Тишков

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ: ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА

О власти и переоценках в науке

Скажу сразу же, что слово «кризис» в названии статьи имеет отношение не только к тем общественным условиям, в которых оказалась наша наука, но и к самой дисциплине, включая ее наиболее авторитетное средоточие: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Было бы явным упрощением и моральной самоуступкой изображать дело так, что в оценке внешних условий, особенно прошлого политико-идеологического режима и общего состояния советского обществоведения, автор применял самые жесткие критерии, а в характеристике себя, своих коллег и дисциплины в целом ограничивался оправдательными претензиями вкупе с реверансами в адрес «славных традиций» советской этнографической науки.

К сожалению, политическая либерализация и идеологическое раскрепощение пока только создали условия для перемен, но сами перемены еще не наступили. «Взбунтовавшийся» предмет науки, особенно отечественная политизация этничности и этническое насилие, лишь высветили неожиданные несоответствия в наших интерпретациях прошлого опыта и бросили вызов академическому сообществу, но вся глубина этих несоответствий и ответ на вызов еще далеко не осмыслены. Становится все яснее, что без строгого критического анализа прошлого, без общественного покаяния, без обстоятельного разговора о сегодняшнем дне и о повестке на будущее нашей науке не обойтись.

Наблюдая за всеобщей эрозией нравов, эгоцентризмом, депрофессионализацией и внутренней несвободой, которые стали второй натурой советских людей, понимаешь, как трудно вести разговор, даже в среде интеллигенции, о вещах, которые выходят за пределы неделовой и отстраненной критики начальников и порядков. Еще труднее говорить о покаянии и самовозрождении в стенах Академии наук, где стойко сохраняются самодовольство и охранительный стиль мышления, бюрократическая иерархия, жесткая корпоративная солидарность, научное батрачество и легко скрываемое тунеядство. Возможно, этот разговор легче было бы начинать не избранному администратору, дабы не подвергать испытанию поддержку со стороны коллектива. Мой недавний опыт общения с ленинградскими коллегами по поводу положения и статуса (вернее, его отсутствия) Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого показал, насколько тяжело даются нелicenseприятные самооценки, а тем более осознание необходимости перемен и нового жизненного поведения. Но я рассматриваю данный текст как приглашение к обсуждению, как позицию, открытую для диалога.

Нельзя не видеть и того обстоятельства, что среди ученых есть и те, кто считает главным в настоящий момент говорить о преемственности, о достижениях советской этнографии, а первые шаги в переосмыслении переживаются ими как «непростое время — время низвержения авторитетов, попыток разорвать связующую нить поколений, научных традиций и контактов»¹. У этой охранительской позиции есть и свой антипод — это своего рода «подсечно-огневая система» в науке. Скажем, наши американские коллеги один-два раза в десятилетие устраивают полный пересмотр доминирующих в дисциплине теоретических парадигм и

то самое «низвержение авторитетов»; при этом благотворно сосуществуют абсолютно противоположные подходы, а ниспровергающие друг друга авторитеты не переносят эти противоречия на деловую и личностную сферы взаимоотношений. Делается это, кстати, к вящему удовольствию самих авторитетов, особенно если этот вызов исходит от нового поколения, от собственных учеников. Причем существует общее понимание, что перемены в науке есть условие ее развития: чем быстрее и полнее они осуществляются, тем лучше. А тот факт, что труды ушедших корифеев американской науки — Ф. Боаса, М. Мид, Р. Бенедикт сегодня представляются наивной романтикой прошлых эпох, никак не роняет статуса этих ученых как выдающихся представителей профессии. Близки к этим позициям и западно-европейские коллеги, для которых не только Б. Малиновский, но и К. Леви-Строс не выдерживают строгих критериев современного эпистемологического анализа.

За подобной этикой, особенно утвердившейся в современной западной науке, стоят не просто более высокая общегражданская культура и приверженность академической свободе, но и новая постмодернистская гносеология, представления о природе познания, об истине. Как отмечает К. Гирц, «возможно следовало бы доверять исчерпываемости описаний этнографов, но представляется, что такой подход работает слабо. Трудно сказать, почему та или иная идея демонстрирует настойчивость своей состоятельности. Возможно, это связано со старомодными представлениями о том, как „совершаются“ „изыскания“ в естественных науках. Во всяком случае, главный тезис этой фактуалистской теории относительно того, каким образом работы антропологов обретают убедительный характер, а именно в силу их теоретических аргументов, уже не представляется столь распространенным. Теоретический аппарат Малиновского, когда-то действительно бывший гордой крепостью, сейчас пребывает почти в руинах, но сам Малиновский остается этнографом из этнографов. Довольно увядшее по нынешним представлениям качество рассуждений Мид о психологии, культуре и личности..., кажется, не очень повредило обстоятельности ее наблюдений о жителях Бали, которые все мы пока не смогли превзойти. По крайней мере, некоторые из работ Леви-Строса переживут разочарование структурализмом... Люди будут читать книгу „Нуэры“ даже если, как это представляется, теория сегментации превращается в догму. Способность антропологов воспринимать серьезно то, что они говорят, связана с фактической стороной или концептуальной элегантностью не менее, чем с их способностью убеждать (разрядка моя. — В. Т.) нас в том, что то, что они говорят, есть результат их подлинного проникновения в другую форму жизни (или можно сказать проникновения в них другой формы жизни), результат так или иначе подлинного „я там был“. И это, т. е. наша убежденность в том, что закулисное таинство свершилось, есть тот момент, когда можно сказать сочинение состоялось»².

Современный доброкачественный релятивизм, понимание высокой степени ситуативности самой природы этнографического описания (именно этот этнограф, в данное время, в данном месте, именно с этими информаторами, со своими собственными убеждениями, ожиданиями и обязательствами, как представитель определенной культуры) освобождают ученых от претензий объективистского позитивизма, создают в научной среде атмосферу свободного выбора вместо идеологии «как всем известно», «бесспорного факта», или «верной точки зрения».

Другая научная этика пока господствует в советском обществоведении. Эта этика была обусловлена не только обязательной пропиской по единой для всех и «вечно живой» методологии, но и иерархической системой внутри научного сообщества. Власть должности и власть научного авторитета обычно оказывались связаны воедино, поддерживались десятилетиями в неприкосновенности для узко элитного круга членов профессии, пребывавших в исключительном интеллектуальном, а нередко и житейском комфорте. Утрата должности чаще всего мыслится как утрата научного лидерства, а всякое сомнение по поводу научной со-

стоятельности тех или иных положений воспринимается их автором как покушение на все его жизненные устои, как личное недоброжелательство. Причем, эта система не просто навязана сверху и извне, но и добровольно, в ряде случаев охотно, поддерживается «рядовым» составом научных сотрудников, которые делегируют лидерам интеллектуальную власть на теоретические постулаты и даже на выбор тем и организацию трудов, как бы освобождая себя от части обязательств для каждого активно работающего ученого усилий, а вместе с этим и от ответственности.

Наша наука (и здесь она ничем не отличается от других дисциплин) создала свое собственное тело, свое внутреннее царство власти. Причем, не только и не столько власти структурно-иерархической (должностной), но и власти концептуальной, престижной, гедонистической по своей природе. Почитайте внимательно журнал «Советская этнография», и Вы увидите, что авторы нередко «выступали» в нем, руководствуясь именно этими властными устремлениями, не вызовами *ex praxis*, а вызовами со стороны своих коллег. В их текстах можно вычленив стремление охранять построенные империи концептуальной власти, нежелание признать за коллегой право на приоритет формулирования, или тонкие нюансы перерасдела участков теоретического поля, а также сознательную передачу инициативы научной власти коллеге, чтобы избавить себя от усилий по охране теоретической собственности.

Конечно, не каждый член профессии в силу ряда обстоятельств, и прежде всего природных способностей, может и должен быть лидером. В мировой этнологии к этой категории можно отнести не более сотни имен, а численность профессионалов составляет многие тысячи. Но и трудно согласиться с тем, что в советских научных текстах десятилетиями фигурируют менее десятка одних и тех же имен теоретиков. Причем, некоторые из них так и ушли из жизни, не испытав удовлетворения быть опровергнутыми своими коллегами и учениками.

Самодовольство и самоохранительство в равной мере такие же проявления кризиса в нашей науке, как и методологический диктат, политический контроль и другие ограничители, о которых речь пойдет ниже. Но только осознать это, как и сделать нелегкое признание о наличии самого кризиса, а не некоего «смутного» времени, чрезвычайно тяжело, хотя, например, выдающийся французский историк Ф. Бродель считал, что кризис есть нормальное состояние науки: наука, которая не ощущает кризиса, находится в состоянии стагнации³. Мне представляется верным замечание А. Я. Гуревича о том, что кризис современной исторической науки заключается прежде всего в ломке привычных стереотипов и устоявшихся схем, в назревании глубокой трансформации исследовательских методов и научных подходов. «В центре кризиса стоит сам историк: ему предстоит менять свои методологические и гносеологические принципы и ориентации. Обрести эти новые позиции не так-то просто, но от его выбора зависит, в какой мере наша профессия освободится от груза прошлого и будет отвечать коренным запросам человека конца XX — начала XXI века»⁴. То же самое можно отнести и к этнологии.

Действительно, тем, кто десятилетиями воспитывался только на отечественной литературе по этногенезу и этнической истории, на составлении этнографических атласов и карт, нелегко преодолеть в основе своей позитивистские постулаты в гегельянско-марксистской упаковке о существовании научно отражаемой объективной реальности, в том числе таких реальных исторических образований, как социально-экономические формации или этносы (субэтносы, суперэтносы или метаэтносы). Трудно перейти на позицию (а, возможно, этого и не следует делать всем дружно), что этносы, как и формации, есть умственные конструкции, своего рода «идеальный тип», используемый для систематизации конкретного материала, т. е. они существуют исключительно в умах историков, социологов, этнографов.

А что же есть? — возмущается привыкший к позитивистскому порядку (не зря эта методология столь любима в тоталитарных обществах!) ум исследовате-

ля. И не является ли отрицание этносов отрицанием предмета науки? В действительности же, на мой взгляд, есть некое культурное многообразие, мозаичный, но стремящийся к структурности и самоорганизации континуум из объективно существующих и отличных друг от друга элементов общества и культуры. На их основе и формируется во времени этничность, которая преобразуется в метафорическую форму представлений об общности прошлого и будущего членов той или иной группы. Эту метафору, приняв ее за «таксономическую данность», романтические позитивисты из академической среды, а вслед за ними другие интеллектуалы и политики, ретроспективно наложили на разного рода прошлые образования и на нынешние культурные и политические процессы с характерной для них сложной (порой жестокой), во многом иррациональной и мифотворческой игрой в этничность. Советские ученые, «вооруженные» терминологией, стремятся во что бы то ни стало и обязательно назидательно определить, где, скажем, среди мордвы этнос, субэтнос и этнографическая группа, кто кем имеет право себя считать. Следуя за Ю. В. Бромлеем, который в одной из своих последних публикаций осудил «стремление рассматривать некоторые субэтноты в качестве этносов-народов», заметив, что «при таком подходе число самостоятельных народов страны может дойти до нескольких сотен»⁵, Н. Ф. Мокшин выносит следующий вердикт: «Предпринимаемые в последнее время некоторыми авторами попытки считать эрзю и мокшу на нынешнем этапе исторического развития самостоятельными этносами- народами не имеют под собой достаточных оснований. Они не только не научны, но и политически вредны, ибо дезориентируют общественность, а прежде всего эрзян и мокшан, деформируют их этнические ориентиры»⁶.

Сколько сразу вопросов к этой цитате! И что такое «научно», и для кого «политически вредно» и что значит «дезориентируют», если эти «ориентиры» в виде терминов уже введены теми же интеллектуалами? И не больше ли смысла в шутовском определении, что «нация — это то же племя, только с армией», или «диалект — это тот же язык, но только без армии»? Другими словами, за кем власть (политическая, интеллектуальная, военная или административная), тот и «этнос», нет власти — значит «этнографическая группа». Можно ли в этой связи отрицать наличие в нашем академическом дискурсе изрядной доли политизированной схоластики?

И, наконец, еще об одной проблеме, возникшей в самое последнее время. Как легко можно понять, оба слова в привычной самоидентификации — «советская этнография» — оказались для многих под вопросом. Кто мы и как нас именовать в нынешних условиях? Сначала о названии дисциплины. Мне представляется, что необходимость перемены здесь диктуется существенными факторами внутреннего и внешнего характера, а не просто торопливым желанием подстроиться под западные стандарты.

Во-первых, этнология и социально-культурная антропология в нашей стране уже существовали, и историю разгрома этнологического факультета И МГУ и гибели автора первого учебника «Этнология» П. Ф. Преображенского недавно напомнили в своей статье Г. Е. Марков и Т. Д. Соловей⁷. Именно в 1930-е годы после марксистской чистки гуманитарных наук этнографии было отведено жесткое место одной из исторических субдисциплин, и такой она остается поныне, если учесть ваковскую (государственную) классификацию наук в стране. И хотя этнология и антропология, в том числе физическая антропология, очень близки и родственны исторической науке, их современный облик определяет близость к таким не менее мощным гуманитарным дисциплинам, как социология, лингвистика, демография, а также к ряду естественно-научных дисциплин, скажем, к биологии. Но самое главное: у этнологии и антропологии есть свой отчетливый предмет — это изучение народов и культур, их взаимодействий, анализ сложнейшего социального феномена — этничности, а также свой отличительный метод — это основанная на включенном наблюдении полевая работа и приемы анализа культурных явлений. Так что налицо достаточно оснований для конституи-

рования (пусть и запоздалого) в нашей стране этнологии как самостоятельной обществоведческой науки на всех уровнях — от подготовки молодых специалистов до соответствующей аттестации кадров высшей квалификации.

Во-вторых, более широкое и модернизированное определение дисциплины, ее доброкачественная экспансия в мире социальных наук (необходимое условие выживания и авторитета в научном сообществе) помогут преодолеть по крайней мере две негативные тенденции. Одна из них, уже отчетливо проявившаяся, — недостаточно привлекательный имидж дисциплины и профессии среди как молодого поколения, препятствующий притоку в нее наиболее талантливых студентов и созданию конкурсной ситуации, так и среди деятелей высшего образования, препятствующий расширению масштаба подготовки кадров и ее материальной обеспеченности. Пусть не 300 факультетов антропологии (часть из них — совместные с социологией, археологией или лингвистикой, но не с историей), как в университетах США, но хотя бы с десятков самостоятельных факультетов или отделений в советских вузах — и положение можно было бы несколько поправить. Контингент, который тогда придет в профессию, будет многочисленнее и с лучшей подготовкой, чем тот, который достается нынешним кафедрам этнографии нескольких исторических факультетов после того, как самые сильные студенты расходятся по, на их взгляд, престижным специализациям. Радикально изменить ситуацию с численным и качественным составом нашей профессии при сложившемся в вузовской среде имидже традиционной этнографии или путем случайного рекрутирования специалистов из других дисциплин, видимо, не удастся. Другая негативная тенденция пока лишь только намечается, но ее необходимо предвидеть. Это опасность маргинализации, оттеснения нынешних этнографов на периферию рынка интеллектуального труда гуманитариев как парадоксальный результат в целом, казалось бы, благотворного процесса — роста интереса к этнической тематике среди представителей других дисциплин: политологов, юристов, социологов, философов, не говоря уж об огромной массе специалистов по «марксистско-ленинской теории наций» из оказавшихся бесхозными малонаучных учреждений партийного профиля. Неожиданно появившаяся за последние 2—3 года говорливая армия специалистов по межнациональным отношениям, этническим конфликтам и т. п. сегодня энергично ищет свое «место под солнцем» и уже конституируется в виде научных подразделений и кафедр этнологии, этнополитических центров и т. д., зачастую не владея базовым знанием, теорией и методом этой сложнейшей дисциплины. И в данной ситуации те, для кого этническая тематика является действительно имманентной, могут со временем обнаружить себя в позиции аутсайдеров. Не так страшно, если аутсайдерство выразится в консультировании политиков и приближенности к структурам власти, но это может лишить специалистов, не желающих утратить свою «этнографическую первозданность», многих материальных субсидий, публикаторских возможностей, международных научных контактов.

В-третьих, при всем нашем патриотизме и почитании преемственности отечественных традиций науки не столь уже маловажен вопрос о более полной интеграции советских ученых в мировое сообщество этнологов и антропологов, о преодолении их изоляционизма и провинциализма (в ряде аспектов). Ученых мирового класса и с мировой известностью (это, кстати, не всегда идентичные понятия) в нашей дисциплине, к сожалению, не так уж много, а их должно быть во много раз больше, чтобы обеспечить статус среди ныне лидирующих национальных школ. Обидно наблюдать, как советские ученые продолжают пристраиваться со своими докладами на международных научных форумах в симпозиумы, организуемые западными коллегами, в то время как за последние десятилетия наиболее мощный прорыв в общественном знании безусловно связан с идеями таких наших соотечественников, как Пропп, Бахтин, Выготский, Лурье, Чаянов и другие. И здесь свое понимание дисциплины и ее название остальному сообществу нам не навязать. Лучше, возможно, отказаться от упорных попыток именовать К. Леви-Строса этнографом и переводить главу «Как становятся этнологом» из

его книги «Печальные тропики» на свой манер⁸ Тем более, что «Структурную антропологию» при издании на русском языке уже не удалось переименовать в «Структурную этнографию», да и сам К. Леви-Строс считал себя антропологом, а самоидентификацию коллег, как и информаторов, нужно уважать.

Так что у советской этнологии и антропологии было не только краткое прошлое, но есть и будущее. Только вот как быть со словом «советская»? Политические перемены в стране больно ударили по этому определению, которое по своему подлинному смыслу — вполне достойное и нейтральное. Применительно к науке оно на сегодня в мире — пока единственная отсылочная дефиниция для наших зарубежных коллег. Хотя со временем ему на смену может придти и новое определение — «российская», но политизированная поспешность здесь неуместна.

Этнография как цеховая основа дисциплины

Прежде всего о том, что я бы определил как процесс репатриации этнографии, именно этнографии, а не этнологии и антропологии. Не дождавшись, когда критики моей инициативы модернизации названия дисциплины и переименования Института выполнят свое обещание разъяснить, что есть этнография, выскажу некоторые соображения. Я рассматриваю этнографию как цеховую основу дисциплины, как метод собирания знания и важнейшую форму его текстуализации. Этнография — это прежде всего то, что ученый делает в поле.

Полевая этнография, пожалуй, меньше всего пострадала от существовавшего режима, и накопленная специалистами информация, эмпирический материал продолжают выгодно отличать труды советских этнологов и антропологов от трудов специалистов по межнациональным отношениям, этническим конфликтам и т. д. из числа философов, социологов, политологов, экономистов, правоведов.

Но не будем обольщаться. Наше этнографическое поле в географическом, проблемном, временном и методическом аспектах есть некая результирующая многих ограничителей: а) прямых запретов на проведение работ в непомерных «стратегических районах», б) цензуры и самоцензуры на тематику и формулировку вопросов, в) недостатка средств на командирование и экспедиционное обеспечение, г) возраста и здоровья (стареют члены профессии старшего поколения, а молодые обретают экспедиционную самостоятельность сравнительно поздно), д) отсутствия жесткой установки на длительную полевую работу как обязательного компонента профессионализации и выполнения монографических исследований.

В итоге опыт полевой этнографии нынешнего поколения советских ученых во много раз меньше аналогичного опыта зарубежных коллег и наших отечественных предшественников. От студентов и аспирантов до мэтров профессии в мировой антропологии считается нормой полевая работа в общине или группе продолжительностью не менее годового цикла. Именно такой путь прошли известные ученые, в том числе и внесшие наиболее заметный вклад в современную теорию. А кто сейчас, в данный момент, из 300 научных сотрудников Института или хотя бы аспирантов, называющих себя этнографами, живет в той или иной этнической группе? Как получилось, что одна из основных форм производственной деятельности стала называться «командировкой» (с обязательной дополнительной оплатой) и оказалась забытой традиция полевых стационаров, позволяющая не только выучить язык народа, проникнуть в его культуру, но и пережить тот счастливый момент, когда доверчиво заговорит информатор и в руки пойдет долгожданный новый материал?

Читая труды советских этнографов, создается впечатление, что изучаемые ими народы живут в климатической зоне «вечного лета» и занимаются почти исключительно соответствующей хозяйственной деятельностью, ибо такова доминирующая сфера примеров и описаний. Эта «летняя этнография» — результат сложившегося феномена «полевого сезона», приходящегося на более благоприятное время года, что может быть вполне понятно для археологических, но никак не для этнологических изысканий. Студентам же и аспирантам вообще предусмотрено жестким учебным планом проследить стипендию в столичном общежитии, а на месячную «практику» выезжать в период каникул.

Видимо, пришла пора совместно с вузовскими коллегами серьезно пересмотреть подготовку научной молодежи, введя как обязательный элемент профессионализации длительную полевую работу (6 месяцев университетского обучения и не менее года для кандидатской диссертации). В самой же профессиональной среде негласной нормой и отправным мотивом в выборе темы, постановке проблемы, построении описания, сообщении результатов и в оценке уровня и новизны исследования должен быть вновь добытый полевой материал.

Эти новые, а вернее старые, критерии укрепить необходимо. Иначе нам не преодолеть того печального обстоятельства, что за последние десятилетия в среде тех, кто называет себя этнографами, сложилось некое амплуа теоретиков-схематиков, компиляторов на основе чужих научных трудов, критиков и разоблачителей. У нас утвердился профиль специалистов, жанр трудов и диссертаций и даже научных подразделений, занимающихся исключительно вторичным интерпретаторством. Эти специалисты, имея под рукой уникальное этнографическое поле, о котором сегодня мечтают тысячи коллег в мире, не желают, боятся, а часто и не умеют заниматься этнографией. Они по-прежнему, не чувствуя своей ущербности и пребывая в совакадемической летаргии, будут ожидать годами случайной книжки в ИНИОНе и в БАНе по проблемам ранней африканской государственности, языковой ситуации на Гаити, поляков в Аргентине или семьи пуэрториканцев в Нью-Йорке, равнодушно проходя мимо пикетов турок-месхетинцев на столичной площади, не говоря уж о том, чтобы полететь за интервью в Баку, Кызыл, Узень или кочевать с эвенком-оленьеводом.

Научные труды таких специалистов можно назвать худшим вариантом книжной историографии, вторичной социально-культурной антропологией, но только не этнографией. Утонченная книжная компиляция никогда не замснит добытого с помощью этнографии первичного знания, никакие метатеоретические или критико-историографические рассуждения не заменят мягко и скромно сформулированных теоретических замечаний на полях собственных полевых дневников.

Репатриация полевой этнографии возможна еще по ряду направлений. Задумавшись, как складывалась география поля в советской этнографии. В отличие от крупных зарубежных школ советские ученые были ограничены по причине бедности науки и бдительности ее начальников почти исключительно отечественными просторами. Благо, что огромное многонациональное образование было и остается неисчерпаемым резервуаром для познания. Выезды и работа советских антропологов в зарубежном мире подменялись неважно спланированными и малоэффективными коллективными экспедиционными предприятиями в Индии, Вьетнаме, Монголии, на Кубе. За последние годы не было выполнено почти ни одного монографического исследования, основанного на собственных полевых материалах и дающего цельное представление о жизни группы или общины, либо об отдельных сторонах культуры зарубежных народов⁹. Советские авторы фактически были отстранены от той географии, на базе которой развивалась мировая антропология XX века.

Специализация наших ученых по зарубежью определялась не полевыми возможностями, а глобалистскими претензиями инициаторов коллективных суперизданий, когда в Институте обязательно должен был быть кто-то, кто «закрывал» ту или иную страну, регион, этническую группу. Подновляя и переписывая историко-справочного характера страноведческие разделы для очередных сериа-

лов, в Институте существовали и продолжают существовать специалисты, избравшие своим вынужденным статусом роль устаревшего справочника.

Для советской этнологии как науки в принципе не имеет престижного значения глобальная география наших зарубежных отделов и их сотрудников. Можно иметь специалистов только по Азии, либо только по Европе или Америке, но внести в мировую антропологию действительно существенный вклад. Другими словами, географию интересов должны определять возможности полевых исследований, а не установка иметь специалистов по всем странам и народам, во что бы это не вырождалось. Плодотворного кросс-культурного анализа это все равно не обеспечивает.

Теперь о географии отечественной полевой этнографии. Ситуация здесь еще требует своего анализа, но ясно, что каждое поколение открывает новые маршруты, сохраняя классический интерес к регионам Сибири, Севера, Кавказа и Средней Азии. Появились ли за последние годы новые нетривиальные географические пункты, куда есть смысл поехать, а где, возможно, и есть нужда в прикладной антропологической службе, об этом стоит обстоятельно подумать. По крайней мере, ушло из поля зрения специалистов в последние десятилетия российское Нечерноземье с его хотя и резко деформированными, но уже составившими жизнь нескольких поколений социально-культурными системами. Явно не хватает свежих полевых материалов по сложной этнической чересполосице и современным межкультурным взаимодействиям в регионах Поволжья, южной России, по проблемам этнических анклавов и меньшинств на территории страны, этническим ситуациям в больших и малых городах. Несмотря на то, что во 2-й половине XX века скорее город, а не село, стал средоточием этничности, особенно в ее конфликтующих и политизированных формах, городская этнология пребывает в неразвитом состоянии, ограничиваясь преимущественно социологической методикой.

В равной мере это относится и к политической антропологии, где преобладают или умная публицистика, или достаточно старомодный по мировым стандартам количественный анализ этнического представительства в структурах власти¹⁰. Сложнейшие функции этничности в этих двух сферах (город и власть) на уровне индивидуальных социальных, политических и гедонистических сантиментов еще по-настоящему не анализировались. Возникает множество вопросов: зачем и как граждане Москвы чувствуют свои «армянство», «еврейство» или «русскость», как, скажем, карабахский кризис заново «делает» этих граждан армянами или азербайджанцами? Почему в парламентах и на митингах люди демонстрируют свою этничность, претендуют на выражение «интересов нации», а участники этих собраний, действуя по логике коллективного поведения, следуют за активистами, часто в ущерб собственным интересам и членам группы? Почему в одних случаях и условиях люди, особенно политики и интеллектуалы, ведут себя как «российские граждане», в других — как «представители автономий»? Мы же пока начинаем отсчет нашего интереса с переписного постулата о существовании некоей объективной целостности как, скажем, «московские армяне — дисперсная группа достаточно развитого этноса»¹¹.

Беру на себя смелость утверждать, что во многих отношениях Советский Союз остается этнографическим Эльдorado, в том числе для советских ученых, особенно если их научные интересы, методические установки и представления о жанре этнографического сочинения станут несколько шире. Что касается жанра, то самым распространенным в мировой науке является авторская монография о той или иной общине, обстоятельное исследование которой раскрывает социально-культурный механизм жизнедеятельности коллективов, а значит и облик всей этнической группы.

Таких работ об отдельных селах, поселках, городских общинах как об особом предмете изучения, а не иллюстративном материале для генерализаций на уровне народа-этноса, в нашей науке крайне мало. И к таким трудам почему-то и нет интереса, хотя они обладают не меньшим потенциалом для теории, челове-

чивают литературные тексты ученых, формируют прямое и регулярное общение этнографа с изучаемым сообществом, ориентируют на возврат добытой информации тем, от кого она получена, а также на прикладное использование научного результата.

Парадоксом можно назвать положение, когда одна из лучших зарубежных работ по Советскому Союзу — книга о бурятской общине английского антрополога Каролины Хэмфри¹², получившая престижные премии, даже не была отрецензирована в журнале «Советская этнография» и до сих пор неизвестна большинству советских специалистов. Читая эту работу, получаешь действительно цельное представление о современной жизни бурятской деревни (на примере колхоза им. Карла Маркса) со всей ее деформированной и трудно вычлениваемой культурой. Но это и есть сегодняшняя культура этноса, результат не только вершущей социальной инженерии, но и людского творчества, постоянно рождающихся инноваций, которые наши коллеги в XXI в. будут изучать уже как традиции. Как представляется, именно в итоге исторических катаклизмов (завоеваний, переселений, эпидемий и т. п.) формировался историко-культурный облик народов в прошлом. К этой же категории может быть отнесен эксперимент строительства социализма.

Нам предстоит по-новому осознать проблему этики проводимых исследований, поведения ученого в ходе полевых работ, взаимоотношений с объектом изучения. И здесь вопрос не столько в том, чтобы обрести новую мораль и ответственность, безусловно страдавшие во времена аморальных общественных порядков. Необходим пересмотр самой направленности, адресата профессиональной ответственности. В прошлом и до настоящего момента эта ответственность главным образом связывалась с обслуживанием структур власти, с рационализацией и гуманизацией систем управления, прежде всего политической и государственной, с оказанием рекомендательного содействия правящим элитам в проведении национальной политики, предотвращении или разрешении конфликтов.

Всплеск соучастности и политического активизма наша дисциплина пережила за последние годы, и желание этнологов увидеть себя как можно выше в мире большой политики, ближе к тем, кто вершит судьбами людей, продолжает расти, несмотря на некоторые грозные отрезвляющие симптомы. Аппетит к политической инженерии среди этнологов разжигают примеры их коллег-юристов, социологов: политологов, а также понятное стремление не отдаляться на опасную дистанцию от пока единственного источника финансирования науки в нашей стране — государственной казны.

Этот подход не учитывает одного важного обстоятельства: этнология стремительно утрачивает свою анонимность, и мы уже не можем не исходить из убеждения, что наши отчеты, доклады, книги и статьи читают те, о ком они написаны. Безотчетность перед изучаемыми, по-видимому, уходит в прошлое, и в этой связи на смену традиционной этике колониальной антропологии «улучшать управление», дожившей в советской науке до сегодняшнего дня, приходит другая этика, сочетающая сложный баланс порою противоречивых установок и целей. Как сочетать, как минимум, три ипостаси: служение научной истине, политику и заботу о том, чтобы «не навредить»? Как быть, если обнародованное «чистое знание» способно нанести политический ущерб изучаемой группе? Может ли этнолог изучающий другую культуру и народ, быть инициатором революционных перемен в жизни своего субъекта? Простого ответа на эти вопросы не существует, иначе они и не относились бы к категории этических проблем.

Причем чаще всего эти проблемы встают перед наиболее опытными полевыми работниками и глубокими аналитиками: ведь чем тоньше и беспощаднее анализ, тем чаще он оказывается уязвимым по этическим нормам, ибо вступает в конфликт с бытовым уровнем представлений, политическим фольклором и эмоциональным мифотворчеством интеллектуалов, господствующими в среде изучаемых групп. На этот счет можно привести массу самых недавних примеров: скрытый запрет в Средней Азии на работу С. П. Полякова о роли там традици-

онных структур, отрицательная реакция в Казахстане на статью В. И. Козлова, недовольство части закавказских интеллектуалов оценками ситуации в этом регионе С. А. Арутюновым и т. д.

Какова здесь наиболее оптимальная позиция? Некоторые антропологи предлагают решать этическую проблему на основе принципа согласия изучаемого субъекта со всем, что делает ученый на всех стадиях осуществления своего проекта. Если такого согласия нет или оно утрачивается, исследование не должно выполняться или должно быть прекращено¹³. Но как, скажем, получить одобрение от политических элит титульных (коренных) национальностей республик, если Ваш анализ их представительства в структурах власти никак не приводит к выводу о легитимности их привилегированного положения? Не случайно по мере раскрепощения академических штудий, укрепления их способности вскрывать внутренние механизмы социальных систем за внешней оболочкой привычных рационализаций, работы этнологов все больше могут восприниматься как «потенциально подрывные» для изучаемых. Мы стремимся познать и, по возможности, помочь, но познание есть форма имплицитной критики общепринятых представлений и оправданий существующих реалий, а значит выводы ученого всегда будут получать свою долю неприятия и непонимания. Безоговорочная установка на одобрение и понимание грозит нашим будущим исследованиям новыми упрощенчеством и конъюнктурой, как это было во времена утверждения текстов вопросников этносоциологов в республиканских и областных комитетах КПСС. В то же время следует помнить замечание канадского антрополога С. Баррета о том, что «вовлеченность антрополога в проблемы этики необычайно глубокая, сравнимая, пожалуй, только с деятельностью психиатра. Поскольку мы взаимодействуем лицом к лицу с нашими субъектами и вторгаемся в самые глубины их жизни, полевая работа включает в себе неизбежное моральное измерение. Когда анализ обладает чувствительностью, антропология может быть самой человеческой из всех наук. Когда же работа ведется неуклюже, она имеет способность к разрушению»¹⁴.

Отказываясь от комплиментарности и конъюнктурного соглашательства с изучаемым субъектом, мы можем и должны строить с ним новые отношения диалога и партнерства, гораздо более важные для дисциплины, чем партнерство со структурами власти и работодателями. И этот новый вектор и уровень ответственности ученых должны быть связаны прежде всего с тем, чтобы не только покончить с «обслуживанием, по выражению И. Левина, спускаемых сверху доктрин», но и не «подымать наверх угодные этнические постулаты». «Надо хорошо изучить группообразующие обстоятельства, не мистифицировать их,— пишет он.— Нельзя ученым злоупотреблять этими знаниями для манипуляции межлюдскими отношениями, как это бывало до сих пор с обществоведами. Наоборот, надо сделать все возможное, чтобы дать людям ясное видение многообразия народонаселения страны и мира, памятуя, что без честного образа подоплеки своего национального или другого отождествления, от члена любой группы можно опасаться взрыва махрового безобразия»¹⁵. Эту трудную как для советских ученых, так и для изучаемых общностей позицию смогут по достоинству оценить проходящие школу гражданственности народы бывшего СССР.

Однако здесь есть ряд пока еще малоосмысленных моментов. Перенос вектора ответственности со структур власти на диалог с предметом исследования ставит перед ученым не менее сложные вопросы, чем былое разочарование невосприимчивостью и равнодушием высших чиновников, которые не только научных трудов не читали, но и осмыслить сочиняемые для них время от времени «докладные записки» были не в состоянии. В новой ситуации в диалоге этнографа с группой появились новые активные участники, прежде всего в лице достаточно авторитетной и со своим «характером» и интересом политической и интеллектуальной элиты изучаемых общностей, которая почти поголовно разделяет этноцентристский менталитет.

Эту элиту отличают, с одной стороны, рефлексии по поводу приниженного

статуса «младшего брата» в более широком, союзном политическом, культурном и научном пространстве (сколько можно формулировать теорию в Москве?!), большее проникновение в проблемы собственного народа и преимущество знания культуры «изнутри», с другой стороны — склонность к престижности, самодовольству, требовательной обидчивости. Местная элита избалована неэффективной и слабоконкурентной средой человеческих отношений, созданных советским режимом, позволявшим ей кормиться и процветать как символ успехов «ленинской национальной политики», в том числе и за счет обирательства и угнетения соплеменников. Парад кожаных пальто и сигарет «Мальборо» на проспекте Шота Руставели и нервная реакция на астафьевских «пескарей» в Грузии, угрозы подать в суд «за призыв к насильственной стерилизации женщин», который среднеазиатские политики и ученые однозначно усматривают во всяких упоминаниях проблемы высокой рождаемости и контроля за деторождением в этом регионе, — все это лишь единичные примеры проявлений «характера» национальных элит. При этом нельзя забывать, что во многих регионах — от Прибалтики и Закавказья до Бурятии и Якутии — были издавна или сложились недавно сильные традиции гуманитарного знания, давшие в том числе известных этнографов. Со временем, я уверен, появятся свои специалисты и из среды малочисленных групп, которые, как Е. А. Гаер, сильно заявят приоритет не только на политическое представительство, но и на научную интерпретацию своей культуры.

Наконец, на горизонте обозначился еще один этнографический «субъект» в лице зарубежных антропологов, которые все больше получают долгожданный доступ к полевым исследованиям в нашей стране. По моим наблюдениям, в американских университетах общее число студентов, проходящих сейчас соответствующую специализацию по Советскому Союзу, уже превышает аналогичное число студентов во всех наших вузах. Зарубежных коллег, особенно представителей англо-американской школы, отличают исключительная жизненная предприимчивость, высокий профессионализм и хорошая методическая подготовка, умение быстро работать и реализовывать исследовательские результаты (на моем рабочем столе уже более дюжины солидных книг по национальным проблемам в СССР, вышедших на Западе только за последние 2—3 года). Нельзя забывать еще, как минимум, два обстоятельства. Одно — психологического свойства, но подкрепляемое реальными прошлыми разочарованиями. Это комплекс «нет пророка в своем Отечестве», и сейчас в «Центре» и в республиках по разным вопросам выступают в роли неопророков зарубежные специалисты. Другое — чисто материальное: западные коллеги обладают средствами, снаряжением, внешними контактами, с которыми трудно конкурировать привыкшим к «бесподарочным» командировкам москвичам и ленинградцам. Наконец, немало важно, что зарубежные специалисты, учтя прошлые ошибки (многих их коллег в свое время выгнали из ряда стран Латинской Америки, Африки и Азии и даже из аборигенных резерваций и общин, например, в США и Канаде), умеют вести себя деликатно и отплачивать взаимным гостеприимством. В этой ситуации прощавшиеся ранее черты поведения «старшего брата» и опостылевшего русскоязычного официоза, носителями которого волей-неволей были столичные ученые, сразу же будут высвечиваться, если для этого будет хотя бы малейший повод.

Так что «центральной» этнографии надо хорошо подумать о будущем доступе к Эльдорадо. Благо, что у нее еще есть одно большое преимущество: многочисленные и благодарные ученики в республиках, прошедшие московскую и ленинградскую школы. Они могут подсказать, как перестать быть «старшим братом». Но ученики — это у старшего поколения, а вот резервуар молодых талантов в советской этнологии крайне слаб. И это больше всего беспокоит.

Тело нашей науки больно, причем сразу несколькими болезнями, и одна из них — наиболее серьезная и менее всего ощущаемая — это отсутствие рефлексии и самоанализа, т. е. того, что я бы назвал этнометодологией и этнографией академического сообщества. Весь наш предшествующий опыт в этом плане сводится к выборочным комплиментарным рецензиям (а скорее — аннотациям) опубликованных трудов коллег и к эпизодическим полемическим «сшибкам» по поводу вдруг высказанных серьезных сомнений в адрес друг друга. Да еще был жанр письма-жалобы, претензии, доноса, направляемых по разным адресам: от редакции научного журнала до «директивных инстанций».

За последние годы мало что изменилось. Добавились только обидные и не всегда справедливые упреки извне. Так, языковед Э. Р. Тенишев обвинил Институт этнографии в «межсособойчине» с Госкомстатом в связи с подготовкой и проведением переписей населения страны¹⁶. Филолог Т. Н. Очирова хлестко высказалась в адрес Ю. В. Бромля и заодно всех советских этнографов, узрев в них главных виновников национальных проблем¹⁷. В газетных публикациях появились запальчивые обвинения ученых в конструировании проблем и провоцировании конфликтов в сфере межнациональных отношений. Да еще М. С. Горбачев, в то время Генсек ЦК КПСС, назвал труды в этой области «заздравными тостами».

Но это все о трудах, т. е. о конечном результате функционирования науки, о чем речь пойдет ниже. Проблема рефлексии гораздо глубже и серьезнее, и в ней есть три уровня: а) система, формула и этика взаимодействий внутри научного сообщества; б) место ученого в сообществе и его позиция в собственном творчестве, и, наконец, в) критика текстов. Первые два уровня фактически никогда не осмысливались, обсуждать их было не принято, а это означало, что научная критика (без критики науки) скорее походила на поглаживание и рассмотрение достоинств новорожденных от непорочных зачатий.

Что касается третьего уровня, то некоторые попытки критического анализа работ советских этнографов «в контексте», по крайней мере, общественно-политическом, были сделаны зарубежными коллегами. Так, например, стойкий критик советской теории этноса южноафриканский антрополог П. Скальник несколько наивно связал происхождение интереса Ю. В. Бромля к этой проблематике и его формулировок с исключительной доступностью для академика трудов С. М. Широкогорова из спецхрана, а его выводы — с партийной установкой сконструировать «новую историческую общность людей — советский народ»; в то же время им были высказаны убедительные аргументы о невозможности применения основных постулатов Ю. В. Бромля к объяснению многих ситуаций, в том числе в Южной Африке¹⁸. Гарвардский профессор Р. Шпорлюк дал хотя и упрощенную, но привлечшую внимание схему позиций современных советских авторов по национальным проблемам, в зависимости от их политических ориентаций и взглядов на государственное переустройство¹⁹. С интересными оценками в адрес нашей дисциплины, в том числе с упреками в отсталости и малополезной одержимости изучением проблем этногенеза, выступил этнолог И. Левин²⁰.

В отечественных критических заметках пока можно обнаружить лишь элементы контекстуального анализа на уровне сопоставления суждений и аргументов в самих текстах. Так, например, я нашел интересными и важными замечания в свой адрес с попыткой объяснить авторскую позицию по вопросу о государственном переустройстве моими американистской специализацией и русским происхождением²¹. Но это лишь случайная иллюстрация к целому архипелагу проблем, который я бы определил понятием этнограф как автор.

Назовем лишь некоторые из вопросов, которые пока даже не ставились внутри дисциплины. В какой мере, например, деформированная, на мой взгляд, половозрастная структура членов профессии (явная феминизация и позднее ста-

новление исследователя) влияет не только на эффективность научного труда, но и на выбор тем, постановку вопросов, исследовательский стиль и манеру оформления результатов? Имеют ли какую-либо корреляцию с параметрами пола и возраста авторов конформизм и беспристрастность, сентиментальная доверчивость и строгий скептицизм, глобальное теоретизирование и тщательная дескриптивность и еще многие другие антитезы в исследовательском процессе?

Вторая не менее важная проблема — этническая и политическая заангажированность ученого. Вся история советской этнографии показывает тщетность претензий на деидеологизированную объективность обществоведческих штудий. Ясно, что каждый ученый действует в определенном поле власти и пишет с определенных позиций или же его позиция используется в определенных политических целях. Другое дело, что работы советских специалистов, включая даже языковой стиль, характер выводов, довольно часто отличает откровенная политизированность или то, что я называю «государственный подход». Наши авторы склонны докладывать свои результаты, особенно на международных собраниях, как некие общие, официальные позиции, а не личные точки зрения. Их тексты пестрят выражениями: ученые «должны, призваны, обязаны» «содействовать, помогать, способствовать» «решению, совершенствованию, гармонизации, осуществлению» и т. д. и т. п. Этатистско-официальный стиль мышления и языка часто заменяют принятые в научной литературе определение собственных методологических позиций и разделяемого автором теоретического контекста, а также четкое выделение собственного оригинального вклада.

В последнее время политизированность стала проявляться в требовательном тоне «занять позицию», определить свою «сторону баррикад», т. е. вести себя «политически корректно», а другими словами — «выкладывать карты на стол», чтобы было ясно с кем Вы и за кого²². Кстати, явление «политической корректности» уже переживали наши западные коллеги, и споры вокруг этой изящной формы академической тоталитарности не затихают до сих пор в университетских кампусах, чему я сам был свидетелем в декабре 1990 г. во время одной из дискуссий на факультете антропологии в Калифорнийском университете в Беркли.

Еще более сильной формой заангажированности ученых является их прямая солидарность с национальными движениями и диктат со стороны последних по отношению к высказываемым специалистами суждениям. Фактически в каждой из республик по наиболее острым проблемам допустима лишь одна точка зрения, а инакомыслящие рискуют быть объявленными «врагами нации» или «агентами Кремля».

Если до недавнего времени просвещенный слой, прежде всего ученые-гуманитарии и писатели, помыкая истиной, обслуживали заказ от политики и государственной идеологии, мечтая о роскоши обрести когда-нибудь свои собственные «башни из слоновой кости», то мощный рывок новых политических лидеров в сторону интеллектуализма пробудил в них приятно-расслабляющее ощущение самости, замешанное на понятном чувстве гражданской озабоченности и сопереживания. Не успев вкусить подлинных академических свобод, не избавившись от надменной претензии на «научное руководство обществом», не излечившись от порочной страсти к социальной инженерии, а, главное, — не успев очистить интеллект от вьезшихся послатов «единственно верного учения» и не пополнив его новейшим гуманитарным знанием, интеллектуалы охотно взяли на себя роль новых духовных лидеров, зачастую совмещая эту миссию с работой профессиональных политиков.

Не берусь судить о коллегах-экономистах, юристах и социологах, но о той армии так называемых специалистов по национальному вопросу могу сказать определенно: изначально политизированные, лишены серьезных, идущих от жизни проработок и не признанные мировым научным сообществом постулаты «марксистско-ленинской теории наций и решения национального вопроса» держатся в их арсенале прочно. Порочность этих постулатов — в идеологическом оправдательстве дьявольских экспериментов, в разъединяющих людей схоласти-

ческих терминах и категориях, которые в свою очередь ведут к словесному терру, диктатуре дефиниций и лозунгов в политическом фольклорном языке.

Не избавившись от словаря и менталитета классовой непримиримости, они приняли диктатуру националистической парадигмы, которая дремала в готовом виде в марксистско-ленинской доктрине и с легкостью была вычленена профессионалами интеллектуального труда, чтобы предстать массам в качестве средства и цели демократизации. Огромную популярность в массах (а значит и у избирателей) обрели писательские заклинания с трибун партийных съездов и парламентов, с газетных полос, что «нации — категории непреходящие» (Б. И. Олейник), что «лучше умереть, чем дожить до момента, когда исчезнет твой родной язык» (В. Быков). Президент республики Грузия — филолог и историк З. Гамсахурдия в свое время объяснил жителям Грузии, что думать нужно прежде всего не о выгоде Черноморского побережья и климата или о ценах на союзных рынках, а о том, что «мост... на реке Беслети близ Сухуми и ныне хранит старинную грузинскую надпись», что абхазов и грузин «связывали между собой культура „Вепхвисткаосани“ и древнейшие грузинские храмы, украшенные грузинскими надписями, те, что и сегодня стоят в Абхазии, покоряя зрителей своей красотой»²³. Но есть «враги», «агенты» и «предатели нации», которые готовы оставить грузинам только один проспект Шота Руставели в Тбилиси.

Привлекательную политическую карьеру председателя Верховного Совета Абхазии сделал этнограф-востоковед В. Ардзинба, не менее элегантно формулируя постулаты абхазского напористого национализма в ответ на фундаменталистский национализм грузинского вождя. Будучи одним из лидеров группы народных депутатов в союзном парламенте, он энергично боролся за права автономий как «национальных государств» и «субъектов федерации» и выступил против демократической программы «500 дней», так как в ней не просматривался национальный (читай — этнический) характер основ экономической реформы.

Национализм и те, кто способен его соответствующим образом формулировать, в определенных социальных и исторических условиях обладают завораживающей и огромной мобилизующей силой. И уже не лидеры и интеллектуалы, а другие после просмотра телепередач, чтения и кофейных перебранок оказываются с ружейными стволами друг против друга у того самого сухумского моста.

600 тысяч беженцев в результате трагически затянувшегося карабахского конфликта и среди них ни одного из тех, кто придал нужный историко-эмоциональный смысл последнему вздоху умиравшей в госпитале армянской старушки: «А Карабах все равно будет наш!» Зато из коллег-этнографов — активных участников карабахского движения бывший аспирант нашего Института стал мэром Еревана, а старший научный сотрудник — депутатом двух парламентов.

В свою очередь с азербайджанской стороны шовинизм и нетерпимость также были мощно подпитаны местными интеллектуалами.

Не ставлю под сомнение искренность и самоотверженность лидеров национальных движений и ученых-политиков, но только хотел бы напомнить коллегам, избравшим ныне вместо академических штудий политический активизм и государственную деятельность, некоторые заповеди из этического кодекса профессиональных этнографов. Возвращая народу полученные от него же информацию и знание, — а) не навреди ему, б) не формулируй проблему там, где ее не видит сам народ, в) не бери на себя функции самого народа. Есть пределы знания и включенности ученого в сфере так называемой «антропологии действия» (или прикладной этнологии). В нашей же обществоведческой традиции до сих пор правит бал надменность собственного провидения и мессианство.

И здесь перед советскими этнологами встает, пожалуй, самый главный вопрос. Он когда-то был задан выдающемуся французскому философу и антропологу М. Фуко: «Как Вы видите роль интеллектуала в практике воинственных действий?» И вот что он ответил: «Интеллектуалу не предстоит играть роль советника. Разрабатываемые и принимаемые планы, тактика и цели являются делом

тех, кто ведет борьбу. Что может сделать интеллигент, так это обеспечить инструменты анализа, и в настоящий момент важную роль здесь может играть историк. Что действительно необходимо, так это разнообразное и глубокое понимание настоящего, которое позволяет обозначить линии слабости, сильные моменты, позиции, где инстанции власти утвердили и укрепили себя системой организации, восходящей по времени на глубину, возможно, более полутора столетий. Другими словами, топологическое и геологическое обследование поля боя — в этом заключается роль интеллигента. Что же касается позиции „Вот то, что Вы должны делать“, то она безусловно неприемлема»²⁴.

Трудные времена, трудные вопросы... Какие будем искать ответы, хотя бы для самих себя?

Примечания

- ¹ Джарылгасинова Р. Ш. Рец. на кн. «Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана» // Сов. этнография (далее СЭ). 1991. № 4. С. 175.
- ² Geertz C. Works and Lives. The Anthropologist as Author. Cambridge, Mass. 1988. P. 4—5.
- ³ Braudel F. En guise de conclusion // Review (The Impact of the Annales School on the Social Sciences). 1978. Vol. 1, № 3/4.
- ⁴ Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории, 1991. № 2/3. С. 35.
- ⁵ Бромлей Ю. В. К разработке понятийно-терминологических аспектов национальной проблематики // СЭ. 1989. № 6. С. 10.
- ⁶ Мокин Н. Ф. Мордва — этноним или этнофолизм? // СЭ. 1991. № 4. С. 91.
- ⁷ Марков Г. Е., Соловей Т. Д. Этнографическое образование в Московском государственном университете (К 50-летию кафедры этнографии Исторического факультета МГУ) // СЭ. 1990. № 6.
- ⁸ См.: Дараган Н. Я. Как становятся этнографами // СЭ. 1988. № 5.
- ⁹ К таким работам я бы отнес, пожалуй, только книгу Н. Л. Жуковской («Категории и символика традиционной культуры монголов». М., 1988), выполненную на основе полевых исследований в Монголии.
- ¹⁰ См., например: Паин Э. А., Попов А. А. Межнациональные конфликты в СССР (некоторые подходы к изучению и практическому решению) // СЭ. 1990. № 1; Крупник И. И. Национальный вопрос в СССР: поиски объяснений // СЭ. 1990. № 4, а также две мои статьи о национальном составе органов власти (СЭ. 1990. № 3; 1991. № 3).
- ¹¹ См.: Арутюнян Ю. В. Армяне-москвичи. Социальный портрет по материалам этносоциологического исследования // СЭ. 1991. № 2. С. 3.
- ¹² Humphrey C. Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Cambridge, 1983.
- ¹³ Jorgenson J. On Ethics and Anthropology // Current Anthropology. 1971. Vol. 12. P. 326—333.
- ¹⁴ Barrett S. R. The Rebirth of Anthropological Theory. Toronto, 1988. P. 236.
- ¹⁵ Нужен народоведческий ликбез. Интервью с народоведом И. Левиным (далее — Левиным И.) // Ожог родного очага / Сост., общ. ред. и вступит. статья Г. Гусейнова и Д. Драгунского. М., 1990. С. 245, 249.
- ¹⁶ Тенишев Э. Р., Быстров Л. Г. Культура начинается с переписи // Московский литератор. 20 января 1989 г. № 3, 4 (522, 523).
- ¹⁷ Очирова Т. Н. Полемические заметки // Слово. 1990. № 2. С. 17-21.
- ¹⁸ Skalnik P. Towards an Understanding of Soviet Ethnos Theory // South African Journal of Ethnology. 1986. Vol. 9; Idem. Union sovietique — Afrique du Sud: les «theories» de l'éthnos // Cahiers d'Etudes Africaines. 1988. Vol. 110. XXVIII (2).
- ¹⁹ Szporluk R. Dilemmas of Russian Nationalism // Problems of Communism. 1989. July — August.
- ²⁰ Левин И. Указ. раб. С. 242.
- ²¹ Арутюнов С. А. Об этнокультурном воспроизводстве в республиках // СЭ. 1990. № 5.
- ²² См., напр.: Перепелкин Л. С., Шкаратан О. И. Экономический суверенитет и пути развития народов (теоретическая дискуссия вокруг вопросов практической жизни) // СЭ. 1989. № 2. С. 46.
- ²³ Советская культура. 30 марта 1991 г.
- ²⁴ Foucault M. Power and Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972—1977. N. Y., 1980. P. 62;

Despite recent ideological liberalisation no radical changes have taken place in Soviet Academia; Social Sciences are still both politicized and methodologically positivistic.

The author discusses an agenda for the modernization of the discipline, to overcome its isolation from Western anthropology and to broaden its theoretical perspectives at the expense of post-modernist interpretations of culture and ethnicity. Significant changes are formulated for the training of anthropologists, for innovations in fieldwork practice, for new ethics in relations with informants and the research area, and these are presented with a plea for open dialogue. The author advocates a new climate in the profession; he is against the existing power hierarchy in the academic community and declares his preference for freer, more responsible activity among anthropologists.

V. A. Tishkov